

# Выразитель русского народа

*Слово о Василии Шукшине*

Русское искусство в послевоенные годы обрело истинную народность: с благословения народной власти в искусство вошли лапотные мужики; и не насильственно, как пролетарии после кровавой смуты, а по зову песенной души. В искусство мужики входили робко, боясь кирзачами поцарапать помещичий паркет; смущенно косились на академиков, но с годами осмелели, и, воспевая мужика и бабу от серпа и молота, воспевая хлебородную ниву и доменную печь, явили миру творения слова, живописи и музыки, не уступающие классическим произведениям русского дворянства. В поле российского искусства взросло и заматерело древо простолюдной жизни, с кореньями, кои вспоила, взлaskала мать-сыра земля, с величавой кроной, осиянной крестьянским солнцем. И поминаются слова Чудика из одноименного сказа Василия Шукшина: «Да если хотите знать, почти все знаменитые люди вышли из деревни. Как в черной рамке, так смотришь — выходец из деревни. Надо газеты читать!.. Што ни фигура, понимаешь, так выходец, рано пошел работать».

Произведения Шукшина обрели духовно-нравственную, художественную силу благодаря народности, глубинной русскости. Чудо Пушкина: вознесся над блистательными дворянскими талантами, поскольку пробился духом и словом к народу, суть крестьянству, и стал народным поэтом. А крестьянство о ту пору — абсолютное большинство российского населения. Чудо Шукшина: не превосходя по художественному дару других «деревенщиков», превзошел духом, ибо возлюбил Россию и родной народ до сердечной боли, до смерти, и тому, кто хаял русских, мог по-мужичьи и в лоб дать. Словно провидя Шукшина, Николай Гоголь поучал: «Если вы действительно полюбите Россию, вы будете рваться служить ей. (...) Не полюбивши России, не полюбите вам своих братьев, а не полюбивши своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу, а не возгоревшись любовью к Богу, не спасетесь вам».

Взросший с обостренной, болящей совестью, резал жестокую правду-матку в глаза всякому, в ком чуял лукавство; и жил с воинственной жаждой правды, сторал в зримой и незримой брани за справедливость, против хамства и вранья. Но о ту пору лишь цветочки распустились, волчьи ягоды вызрели позже, когда рухнула народная власть, погребя совесть. Как бы Василий Макарович жил в теперешние менеджерско-мошеннические времена?! Праведное сердце зашлось бы от боли, глядя, как на Руси княжит нежить и нерусь, ненавидящая православный русский дух, усердно засевающая в русские души пороки от князя тьмы.

Коли *совесть нации*, — святые угодники Божии, истые молитвенники о родном народе, то уж *совестью русской литературы* можно повеличать писателей-русифилов, праведно избранных, подобных Пушкину, Гоголю, Достоевскому, Лескову, Шмелеву, Шолохову, Шукшину и Белову. Полвека пристально читавший и осмыслявший творчество и судьбы писателей *деревенщиков*, скажу, что, судя по сочинениям, судя по образу земного бытования, лишь Василий Шукшин и Василий Белов оказались духом ближе к величанию — *совесть нации*.

У порога смерти Василий Макарович умолял единоплеменных братьев и сестер: «Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвёл в степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совестливость, доброту... Уверуй, что всё было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наше страдание — не отдавай всего этого за понюх табаку. Мы умели жить. Помни это. Будь человеком». «Будь человеком...»

Шукшин был истинным выразителем русского народа, где крестьянство — духовно-нравственный, творчески созидательный стержень нации. Не единожды поминал я слова Александра Куприна, и теперь повторю, поскольку чудится, будто Василий Макарович поклонно возглашает: «Когда говорят «русский народ», я всегда думаю — «русский крестьянин». Да и как же иначе думать, если мужик всегда составлял 80% российского народонаселения. Я, право не знаю, кто он, богоносец ли, по Достоевскому, или свинья, по Горькому. Я — знаю только, что я ему бесконечно много должен, ел его хлеб, писал и думал на его чудесном языке, и за всё это не дал ему ни соринки. Сказал бы, что люблю его, но какая же это любовь без всякой надежды на взаимность».

*С. Уваров*

## Пьедестал

И стало это у Константина Смородина как болезнь: днем, на работе, рисует свои вывески, плакаты, афиши, а вечером, дома, начинает все ругать — свою работу, своих начальников, краски, зрителя, всех и все.

— Долбаки! — зло говорил он и стискивал зубами янтарный мундштук. — Если они рекламируют пиво, то на вывеске обязательно давай счастливое рыло. Почему?! — Константин Смородин, маленький, грудастый, в пляжном халате 54-го размера, походил на воробья, которому зачем-то накинули детскую распашонку. — В чем здесь логика восприятия? Счастье — в кружке пива?

Жена Константина Смородина, худошавая, медлительная, смотрела большими темными глазами чуть выше мужа, о чем-то думала о своем, затяжном и неясном. Она работала кассиром в кинотеатре и могла думать вот так вот — рассеянно и бесконечно, — даже когда продавала билеты. Отрывала билетки, брала деньги, сдавала сдачу — и думала, думала. Она была очень молчалива. Константин Смородин упражнялся перед ней как хотел — она до поры до времени не реагировала. Да он и не требовал, чтоб она реагировала. И — странно тоже — почему-то его не интересовало, о чем она думает, он не спрашивал.

— А если я вам, вместо счастливого лица, нарисую кружку пива и большой кукиш — это как? А ведь тут ба-альшой смысл! — Константин Смородин мастеровито посасывал мундштук, щурил глаза от дыма, но мундштук изо рта не вынимал. — Не согласны? А я вам докажу! Пойдем по логике. Чтобы выпить кружку пива, ты должен на жаре отстоять очередь. Потом — ты взял кружку пива. Выпил. Постоял маленько, тебе еще захотелось. Но ты посмотрел на очередь, поднял руку и резко опустил — и пошел в магазин. Взял бутылку вина и выпил ее на жаре. Тебя развезло... Ты пошарил в кармане — у тебя оказалось еще два рваных. Ты, как говорится, «затроил», в результате пришел домой на бровях. Шум. Скандал. Все началось с кружки пива.

Константин Смородин, удовлетворенный, смотрел в дымчато-темные, чуть влажные глаза жены... Она ему — из далеких-далеких каких-то своих дум — кивала поощрительно.

— Пойдем еще по логике... — продолжал Смородин. И так ходил он по этой логике каждый вечер, нервничал, злился, но не уставал и не отчаивался.

— Будешь ужинать? — спрашивала жена.

— Окрошечки бы... М-м? — спрашивал Смородин. — Холодненькой.

— Садись.

Хлебая окрошку, Смородин опять возмущался.

— Окрошка из сладкого кваса! Ну не ё-моё?! — В недавнем прошлом Смородина значилась тюрьма, лет пять, — за отдаленное участие в изготовлении фальшивых денег, он прихватил в лагере тамошний сочный, богатый образами язык и обильно вплетал разные слова и словечки в теперешнюю мирную речь. — Пить его — еще туда-сюда, но окрошка-то!.. Сахар с луком! Ну делай: для питья один, для окрошки — другой, кислый. Ну что же — сладкая окрошка-то?! Или тоже от фонаря: все съедят?! Ну, кумовья, я их маму...

— Не ругайся, — спокойно просила жена.

— Я не ругаюсь, я злюсь. Хорошая злость помогает в работе, это еще мой учитель говорил. «Как, — говорит, — дойдет, что охота укусить кого-нибудь, — беги к холсту!»

У Смородина был и учитель, оказывается: деревенский любитель, добрый человек, не от мира сего, дядя Иван, коновал, философ и художник. Он давно помер, но Смородин хранил о нем светлую память. Философия дяди Ивана покоилась на трех китах. 1. Когда тебя обижает кто-нибудь, ты думай про того: «Дурак, делать, что ли, больше нечего?» 2. Не гонись за богатством — меньше хлопот. 3. Самые хорошие люди — кони. Когда изведут всех коней под корень, наступит конец света, в том смысле, что каждый озлобится на каждого.

Были у него и еще правила, но так, на каждый день. Например: если тебе нечего делать, а делать чего-нибудь всегда надо, — складывай песню. Или рисуй. Или на балалайке играй. Только не торчи без дела, лучше как-нибудь скрась людям жизнь. Смородин не все усвоил из учения дяди Ивана, то есть почти ничего не усвоил. Как подросток, попал в город, так пошло его носить, как-то не до правил стало. Какие правила! Несет тебя — цепляйся за все, что подвернется под руку, иначе в этой опасной реке булькнешь, и только пузыри от тебя пойдут. Но кое-что Смородин все же взял из житейской науки дяди Ивана: например, никогда не ленился работать. И теперь у Смородина была работа. Большая! Был холст... Он стоял в маленькой отдельной комнатке против окна — от стены до стены. Он стоял здесь с год уже; работа подвигалась трудно, но подвигалась упорно. Вот что было на холсте. Стоит стол, за столом сидят два человека... с одинаковым лицом. Никакого зеркала, просто два одинаковых человека сидят за столом, и один целится в другого (в себя, стало быть) пистолетом. Картина должна называться «Самоубийца». Откуда, из каких подвалов вынес Смородин такую печальную тему, это станет понятно несколько позже. Впрочем, это и теперь не секрет: тему и сюжет подсказала жена Константина Смородина, эта странная задумчивая женщина.

Когда Смородин входил в маленькую комнатку, на лице его появлялось выражение злой решимости. Укусить не укусить, но надавать в зубы кому-нибудь — с таким лицом только и делать. Он подолгу стоял перед полотном в пляжном халате, перехваченном в талии толстым поясом с шишками на концах, стоял, сунув руки глубоко в карманы халата, сосал мундштук и свирепо шурился. Жена его не входила во время работы в комнатку, он не велел.

Работал Смородин днем, чаще в субботу и воскресенье. Световой день его заканчивался рано, и, когда поздно вечером приходила жена с работы, Смородин сидел обычно на кухне в неизменном халате, пил чай.

— Как дела? — спрашивал Смородин.

Жена пожимала плечами, что — «никак». Молча переодевалась (тоже надевала халат), молча ж подсаживалась к столу и пила чай. А Смородин рассказывал.

— Захожу вчера к своему долбаку: «Вызывали?» — «Вызывал. Для молочного кафе эскиз вы делали?» — «Я-с. Не нравится?» — «Что это у вас тут такое?» — «Вымя коровье. А это — соски. Просто же». — «Это авиабомбы какие-то, а не соски!»

Жена Смородина, когда он рассказывал об этом, засмеялась. Она смеялась беззвучно, и опять же — вроде себе, своим мыслям. Посмеялась и покачала головой, как делают, когда даже ничего говорить не хочется на глупость. Смородина этот ее смех сильно воодушевил. Он встал и заходил по шестиметровой кухне, да так быстро поворачивался, что полы его халата распахивались, видны были кривые волосатые ноги.

— Авиабомбы, да! — начиненные молоком и здоровьем! Когда они обрушиваются на людей, они сеют... так сказать, кровь с молоком. Пусть бьет меня такая бомба по кумполу — на здоровье!

— Про Вьетнам надо было, — подсказала жена.

— Что про Вьетнам? — не понял Смородин. И остановился.

— Там — смерть, здесь — молоко. Он бы завизжал от восторга.

— Не сообразил. — Смородин двинулся было, но опять остановился. — А если вообще — триптих такой: бомбежка — раз, кладбище — два и вымя в облаках... А?

Жена, не меняя задумчивого выражения на лице, посмотрела на мужа. Спросила: — Зачем?

— Ну, триптих такой...

— Это же не музей.

— Ну да, — согласился Смородин.

— Чем закончилось с вымем-то?

— Переделал! — как-то даже весело воскликнул Смородин. — Пусть кушают примитив. Я теперь пришел к выводу: чем хуже, тем для них лучше. — И Смородин гордо посмотрел на жену. Жена тоже посмотрела на него и кивнула головой. И в глазах ее темных померцал слабый свет ласки.

— Ты таких слов не говорил, — сказала она.

— Я их говорю!

— Ты их не говорил, — упрямо повторила смуглая жена.

— Не понял, — признался Смородин. И вынул изо рта мундштук.

— Твой начальник никогда не слышал от тебя таких слов. И соседи не слышали. И никто. Иначе ты ничего не успеешь сделать.

— А-а! — дошло наконец до Смородина. — Ну, это само собой. Это я секу.

— Надо, чтоб у них потом отвисли челюсти. Талант всегда немножко взрывается. Живет человек, никто на него не обращает внимания, замечают только, что он какой-то раздражительный. Но в политику не лезет. Вдруг в один прекрасный день все узнают, что этот человек — гений. Ну, не гений, крупный талант. — Жена Смородина не всегда молчала. Иногда она начинала говорить и тогда преображалась: говорила сильно, с глубокой страстью, и опять куда-то, в даль своих постоянных далеких дум. И глаза ее явственно светились светом иной жизни, той жизни, где она жила мыслями, — в жизни, где дни и ночи тихо истлевали бы в довольстве и пресыщении, где не надо продавать билеты, где ничего не надо делать, может быть, играть в пинг-понг, ибо делать что-нибудь за кусок хлеба — это мерзко, гад-

ко, противно, наконец, просто неохота. Она знала, что такая жизнь есть. Где она, такая жизнь, черт ее знает, но она всем существом была в той жизни, а здесь только с презрением, брезгливо пребывала. В прошлой судьбе ее тоже была тюрьма; она не рисовала фальшивых денег, она не умела рисовать, она где-то в каких-то серьезных бумагах подставляла нули и угодила туда же, куда угодил Смородин. И где-то там они и познакомились. Она очень заинтересовалась способностями ершистого Константина Смородина... Когда они вышли на волю, они разыскивали друг друга и сошлись. С тех пор Константин Смородин и стал поносить всех и все. И тогда же, примерно, он натянул большой холст и посадил туда этого отчаянного человека, который сам в себя целится.

— Могут не признать, суки, — встрял Смородин в убежденную речь жены. Он часто сомневался. — Это же не передовик на комбайне, понимаешь. Чего ты не хочешь передовика какого-нибудь?

— Ни в коем случае! — твердо сказала жена. И строго посмотрела на мужа. — Что ты! Это вшивота. Крохоборство. Это же дешевка! — Все же прекрасен сильный человек! Жена Смородина, когда вселяла в слабого, суетливого мужа дух борьбы и протеста, сама на глазах хорошела: глаза совсем темнели, становились как будто еще больше, ноздри прямого носа вздрагивали, верхняя губа хищновато дергалась кверху, и на ней явственней обозначался темный пушок. Смородин, парализованный ее волей, вынимал изо рта мундштук, слушал, смотрел... и начинал томительно ждать, когда они лягут спать и выключат свет.

— Но не признают же...

— Кто?

— Ну, кто... Что ты, не знаешь кто?

— И прекрасно! Это-то и нужно. Не хватало еще, чтобы они признали! Признают другие. Кому осточертели все эти передовики, те и признают. А тогда уж... все само собой сделается.

И все же самое удивительное во всем этом было, наверно, то, что Смородин вовсе не думал о деньгах. И когда он участвовал в изготовлении фальшивок, и тогда он не думал о деньгах — о том, чтоб иметь их много-много. Ему нравилось, что его, самодельного художника, признают талантливым, что где-то кто-то очень нуждается в его работе, и он старался делать, что ему положено делать, хорошо. А так как накрыли их скоро, то больших-то денег он еще и не имел и не успел, так сказать, войти во вкус. Жена его — другое дело: хоть скуп и неохотно, но кое-что рассказывала из своей жизни той поры, когда подставлялись на бумагах нулики. Она знала в этом толк, в деньгах. Смородину же очень хотелось «взорваться» — чтоб о нем заговорили, заговорили о его картинах, рисунках... Может, и станут покупать, пусть, но главное все же не в том.

Таким он и входил в маленькую комнатку — готовый «взорваться», отсюда и такая свирепая решимость на его маленьком круглом лице, вовсе не злом, а даже добродушном, доверчивом и мясистом.

— Ну, суки... — говорил он, стоя перед картиной с мундштуком в зубах и засунув руки в карманы халата.

И вот пришла пора, пришел день, который жена Смородина молча ждала и молча торопила.

— Завтра позову его, — сказал вечером на кухне Смородин.

У жены — как будто она напугалась чего — широко распахнулись темные глаза, она стремительно вышла из ТОЙ жизни в ЭТУ, тесную и вонючую, и спросила негромко:

— Да?

— Да. Можно сказать. Если он не нарежется с утра... Пораньше схожу за ним, чтоб не успел нарезать. Пусть лучше здесь выпьет. Ты приготовь тут...

— Я все сделаю, — с не свойственной ей поспешностью сказала жена. — Все будет на уровне, не беспокойся.

И на другой день, рано утром, в воскресенье, Смородин привел его, художника, который должен был сказать, что Константин Смородин — «взорвался». Или он это скажет, или... Смородин и его жена волновались. По-разному волновались. Жена его вся ушла в свои глазницы, вся там трепетала и надеялась; Смородин, как всегда, много суетился и говорил.

Художник был бородатый, большой, с курносым русским лицом. Заявился шумно, загудел в малогабаритной квартире, стал всего касаться плечами...

— Ну, что ты тут намазал?.. Где?

— Погоди, погоди, — суетился Смородин, — давай сперва дернем по малой... Зоя, у нас есть там чего-нибудь?

— Проходите сюда, пожалуйста, — сказала жена Смородина, обшаривая художника вопрошающими глазами.

Художник Коля тоже глянул на нее, сказал «гм» и зашагнул в кухню.

— О-о! — густо сказал он. — Это я понимаю. Да ты славно живешь, Константин! Ну давайте... — И художник первым сел за стол и пригласил хозяев: — Садитесь. Вы славно живете! — еще приятно удивился он. — Как вас, Роза?..

— Зоя, — сказала жена Смородина.

— Зоя! Садитесь, Зоя. Садись, Костя... Ну, так... Нет, славно, славно, молодцы. Вы тоже рисуете, Зоя? — спросил художник, галантно повернувшись к хозяйке.

— Нет, она... по финансовой части, — сказал Смородин. — Наливай, Зайка.

Когда выпили по одной, художнику Коле стало легче.

— Вчера приняли с Поволоцким... Ты знаешь его? А-а, ты его не знаешь. Славный парень. — Художнику было лет 37, и здоровье свое он еще только-только начал пропивать. В городе он считался лучшим художником, знал московских мастеров, был о них невысокого мнения, материл, когда принимал за галстук. — И ну, так, так... Хорошо!

Еще выпили по одной дорогого коньяку.

— Эх, жизнь бекова! — сказал художник Коля. — Как там у вас говорили, Константин? А интересно там, да? Мне охота бы побывать, только недолго, ну ее к черту... Не вытерплю долго. С полгода бы вытерпел.

Смородин хихикнул встревоженно... И глянул на жену — проверить: не подали ли художнику лишнего? Но жена его спокойно и даже с интересом разглядывала лучшего художника города.

— Что нарисовал-то? — спросил тот. И посмотрел весело на Смородина. — «Утро нашей Родины»?

— Увидишь, — уклончиво, но и обещающе сказал Смородин. — Давай посидим пока...

Художник засмеялся.

— Чего ты меня готовишь, как... невесту смотреть. Волнуешься, что ли? А?

Смородин пожал плечами.

— Год работал...

— Ну-у, даже интересно. Пойдем глянём!

Смородин опять быстро и вопросительно глянул на жену.



— Выпейте еще, — сказала Зоя, — потом уж делами займетесь.

— Да что вы такие?! — спросил удивленный художник, глядя на Смородина. — Можно подумать, что у вас там труп висит, а не картина. Чего вы?

— Выпейте, — жена Смородина засмеялась от растерянности, что с ней редко бывало — чтобы она терялась. — Выпейте, закусите, потом и пойдете. — Боялась она, что ли?

Еще выпили. И закусили.

— Пойдем, — нетерпеливо сказал художник Коля. — А то нагнали тут мистики какой-то. Пойдем, что там такое?

Пошли.

Вошли в маленькую комнатку... Смородин снял белую тряпку с холста, целую простынь. Руки его мелко дрожали; он крепко прикусил мундштук и засунул руки в карманы брюк. У него даже в животе заныло.

Художник прищурился на картину... Долго смотрел... Потом посмотрел на Смородина...

— Самоубийца, — сказал тот, слабо кивнув на холст. Голос его охрип.

Художник засмеялся, и даже не спохватился, что, может, грешно смеяться-то. Не увидел, не заметил, не обратил внимания, какой стоял Смородин — весь на-струнившийся, весь отчаянный и жалкий, как на краю обрыва стоял и боялся смотреть вниз.

— Чего ты? — спросил тихо Смородин.

— Ты прямо напугал меня, — добродушно сказал Коля-художник. — Я уж думал, тут правда черт-те чего... Не вышло, Константин. Самоубийца... — Он опять невольно хохотнул. — Тут до самоубийства-то еще далеко, друг. А чего ты туда полез-то? А?

Смородин молчал. Чтобы не выдать, что с ним творится, не смотрел на художника, смотрел на картину и кусал мундштук. И тут, видно, понял художник, как он немилосерден, жесток.

— Костя!.. — окликнул он. — Ты чего? Брось ты так... Давно надо было позвать меня — не тратил бы год на эту мазню. Надо учиться, дружок, надо много уметь... Ну куда тебя, к черту, понесло — самоубийца! Тут еще и ремесла-то нету. Тут ни примитивизма, ни реализма... Ничего. — Он посмотрел на картину. — Ты человек способный, это я тебе не из какой не из жалости говорю. Способный. Но абсолютно неграмотный. Да и тема-то вовсе не твоя, ты вон какой... окорок, с чего вдруг самоубийство-то? Да ведь как выдумал!.. Ловко. Но это штука, дружок, фокус, а фокус не удался. Не переживай. Хочешь, буду учить тебя?

— Вон отсюда! — раздался вдруг сзади них голос.

Художник Коля и Смородин вздрогнули от неожиданности, оглянулись. Стояла жена Смородина, Зоя, смотрела в упор на художника, и глаза ее полыхали... не гневом даже, а — гибелью, крушением. Изождавшиеся ее глаза кричали болью.

— Вон из квартиры! — повторила она, глядя на художника.

— Зоя... — хотел что-то сказать Смородин.

— Вон! — крикнула Зоя. И топнула ногой. И лицо ее тоже исказилось болью. — Вон! Вон! Вон!!!

Художник Коля ничего не понял, но испугался, понял только, что тут сейчас должно что-то случиться... И, даже не показав никак, что он удивлен или что ему странно все это, — пошел вон. Подошел к двери, оглянулся...

— Во-он!! — закричала истерично жена Смородина. Схватила мужа за руку и



потасила вслед за художником. И говорила, как в бреду, торопливо, едва разборчиво: — Спусти его!.. Двинь сзади! Скорей!..

Смородин и сам тоже испугался. Шел за женой, не противился... Художник, видя такое дело, поскорей вышел из квартиры и поскорей же начал спускаться по лестнице. А жена Смородина все тащила мужа за рукав — Смородин невольно отметил, какая у нее сильная рука, — и все торопила, все повторяла:

— Спусти его! Вниз его, вниз его, вниз... Двинь его! Скорей же!

На лестнице, увидев внизу уходящего художника, бросила руку мужа и стала показывать, как надо спустить художника вниз: торопливо, с силой совала острым кулаком в воздух, вниз, и твердила, и твердила:

— Догони его! Догони — двинь его, двинь! Толкни вниз! Вот так вот, вот так вот... Что ты стоишь-то?! Что ты стоишь-то?!

Смородин обнял жену, стал успокаивать.

— Зоя, Зоя... ну что ты? Что ты? Перестань, люди сбегутся. Люди же сбегутся!..

— Уйди! — зло кричала Зоя и колотила мужа в широкую грудь, как в дверь, обитую дерматином. — Уйди! Подонки!.. Хамье! Подонки! Подонки!..

Это была уже истерика. Константин Смородин слышал, как надо останавливать женскую истерику: приотпустил жену и, не разворачиваясь, больно дал ей ладонью по щеке. Жена уткнулась ему в грудь, обмякла, заплакала. Смородин поднял ее на руки и понес домой.

— Ну что ты, дурашка ты моя? — говорил ласково Смородин. — Чего ты?.. Подумаешь! Ну, и ничего страшного! Ничего же страшного не случилось. Ну, дурак пришел, наговорил... Что он понимает-то! Я других художников позову, не алкоголиков... они скажут. Не реви. Успокойся. — Смородин целовал голову жены, обильно надушенную ради сегодняшнего дня, и крепче прижимал ее к груди. — Успокойся, милая, успокойся, не надо...

А Зоя плакала, не могла остановиться, плакала, мочила слезами его выходной светло-серый костюм... Даже подвывала тихонько — так горько плакала. И не могла остановиться.

## Думы

И вот так каждую ночь!

Как только маленько уgomонится село, уснут люди — он начинает. Заводится, паразит, с конца села и идет. Идет и играет.

А гармонь у него какая-то особенная — орет. Не голосит — орет.

Нинке Кречетовой советовали:

— Да выходи ты скорей за него! Он же, черт, житья нам не даст.

Нинка загадочно усмехнулась:

— А вы не слушайте. Вы спите.

— Какой же сон, когда он ее под самыми окнами растягивает. Ведь не идет же, черт блажной, к реке, а здесь старается! Как нарочно.

Сам Колька Малашкин, губастый верзила, нахально смотрел маленькими глазками и заявлял:

— Имею право. За это никакой статьи нет.

Дом Матвея Рязанцева, здешнего председателя колхоза, стоял как раз на том месте, где Колька выходил из переуллка и заворачивал в улицу. Получалось, что

гармонь еще в переулке начинала орать, потом огибала дом, и еще долго ее было слышно.

Как только она начинала звенеть в переулке, Матвей садился в кровати, опускал ноги на пол и говорил:

— Все: завтра исключу из колхоза. Придерусь к чему-нибудь и исключу.

Он каждую ночь так говорил. И не исключал. Только, когда встречал днем Кольку, спрашивал:

— Ты долго будешь по ночам шляться? Люди после трудового дня отдыхают, а ты будишь, звонарь!

— Имею право, — опять говорил Колька.

— Я вот те покажу право! Я те найду право!

И все. И на этом разговор заканчивался.

Но каждую ночь Матвей, сидя на кровати, обещал:

— Завтра исключу.

И потом долго сидел после этого, думал... Гармонь уже уходила в улицу, и уж ее не слышно было, а он все сидел. Нашаривал рукой брюки на стуле, доставал из кармана папиросы, закуривал.

— Хватит смолить-то! — ворчала Алена, хозяйка.

— Спи, — кратко говорил Матвей.

О чем думалось? Да так как-то... ни о чем. Вспоминалась жизнь. Но ничего определенного, смутные обрывки. Впрочем, в одну такую ночь, когда было светло от луны, звенела гармонь, и в открытое окно вливался с прохладой вместе горький запах полыни из огорода, отчетливо вспомнилась другая ночь. Она была черная, та ночь. Они с отцом и с младшим братом Кузьмой были на покосе километрах в пятнадцати от деревни, в кучугурах. И вот ночью Кузьма захрипел: днем в самую жару потный напился воды из ключа, а ночью у него «завалило» горло. Отец разбудил Матвея, велел поймать Игреньку (самого шустрого меринка) и гнать в деревню за молоком.

— Я тут пока огонь разведу... Привезешь, скипятим — надо отпаивать парня, а то как бы не решился он у нас, — говорил отец.

Матвей слухом угадал, где пасутся кони, взвизнул Игреньку и, нахлестывая его по бокам волосяной пудой, погнал в деревню. И вот... Теперь уж Матвеем скоро шестьдесят, а тогда лет двенадцать-тринадцать было — все помнится та ночь. Слились воедино конь и человек и летели в черную ночь. И ночь летела навстречу им, густо била в лицо тяжким запахом трав, отсыревших под росой. Какой-то дикий восторг обуял парнишку; кровь ударила в голову и гудела. Это было как полет — как будто оторвался он от земли и полетел. И ничего вокруг не видно: ни земли, ни неба, даже головы конской — только шум в ушах, только ночной огромный мир стронулся и понесся навстречу. О том, что там братишке плохо, совсем не думал тогда. И ни о чем не думал. Ликовала душа, каждая жилка играла в теле... Какой-то такой желанный, редкий миг непосильной радости.

...Потом было горе. Потом он привез молоко, а отец, прижав младшенького к груди, бегал вокруг костра и вроде баюкал его:

— Ну, сынок... ты что же это? Обожди маленько. Обожди маленько. Счас молочка скипятим, счас продохнешь, сынок, миленький... Вон Мотька молочка привез!..

А маленький Кузьма задыхался уже, посинел.

Когда вслед за Матвеем приехала мать, Кузьма был мертв. Отец сидел, обхватив руками голову, и покачивался, и глухо и протяжно стонал. Матвей с удивлени-

ем и с каким-то странным любопытством смотрел на брата. Вчера еще возились с ним в сене, а теперь лежал незнакомый, иссиня-белый чужой мальчик.

...Только странно: почему же проклятая гармонь оживила в памяти именно эти события? Эту ночь? Ведь потом была целая жизнь: женитьба, коллективизация, война. И мало ли еще каких ночей было-перебыло! Но все как-то стерлось, поблекло. Всю жизнь Матвей делал то, что надо было делать: сказали, надо идти в колхоз, — пошел, пришла пора жениться — женился, рожали с Аленой детей, они вырастали... Пришла война — пошел воевать. По ранению вернулся домой раньше других мужиков. Сказали: «Становись, Матвей, председателем. Больше некому». Стал. И как-то втянулся в это дело, и к нему тоже привыкли, так до сих пор и тянет эту лямку. И всю жизнь была на уме только работа, работа, работа. И на войне тоже — работа. И все заботы, и радости, и горести связаны были с работой. Когда, например, слышал вокруг себя — «любовь», он немножко не понимал этого. Он понимал, что есть на свете любовь, он сам, наверно, любил когда-то Алену (она была красивая в девках), но чтоб сказать, что он что-нибудь знает про это больше, — нет. Он и других подозревал, что притворяются: песни поют про любовь, страдают, слышал даже — стреляются... Не притворяются, а привычка, что ли, такая у людей: надо говорить про любовь — ну давай про любовь. Дело-то все в том, что жениться надо! Что он, Колька, любит, что ли? Глянется ему, конечно, Нинка — здоровая, гладкая. А время подперло жениться, ну и ходит, дурак, по ночам, «тальянит». А чего не походить? Молодой, силенка играет в душе... И всегда так было. Хорошо еще, не дерутся теперь из-за девок, раньше дрались. Сам Матвей не раз дрался. Да ведь тоже так — кулаки чесались, и силенка опять же была. Надо же ее куда-нибудь девать.

Один раз Матвей, когда раздумался так вот, сидя на кровати, не вытерпел, толкнул жену:

— Слышь-ка!.. Проснись, я у тебя спросить хочу...

— Чего ты? — удивилась Алена.

— У тебя когда-нибудь любовь была? Ко мне или к кому-нибудь? Неважно.

Алена долго лежала, изумленная.

— Ты никак выпил?

— Да нет!.. Ты любила меня или так... по привычке вышла? Я серьезно спрашиваю.

Алена поняла, что муж не «хлебнувши», но опять долго молчала — она тоже не знала, забыла.

— Чего это тебе такие мысли в голову полезли?

— Да охота одну штуку понять, язви ее. Что-то на душе у меня... как-то... заворошилось. Вроде хвори чего-то.

— Любила, конечно! — убежденно сказала Алена. — Не любила, так не пошла бы. За мной Минька-то Королев вон как ударял. Не пошла же. А чего ты про любовь вспомнил середь ночи? Заговариваться, что ли, начал?

— Пошла ты! — обиделся Матвей. — Спи.

— Коровенку выгони завтра в стадо, я забыла сказать. Мы уговорились с бабами до свету за ягодами идти.

— Куда? — насторожился Матвей.

— Да не на покосы на твои, не пужайся.

— Поймаю — штраф по десять рублей.

— Мы знаем одно местечко, где не косят, а ягоды красным-красно. Выгони коровенку-то.

— Ладно.

Так что же все-таки было в ту ночь, когда он ехал за молоком брату, что она возьми и вспомнись теперь?

«Дурею, наверно, — грустно думал Матвей. — К старости все дуреют».

А хворь в душе не унималась. Он заметил, что стал даже поджидать Кольку с его певучей «гармозой». Как его долго нет, он начинал беспокоиться. И сердился на Нинку: «Телка гладкая!.. Рази ж она скоро отпустит!»

И сидел и поджидал. Курил.

И вот далеко в переулке начинала звенеть гармонь.

И поднималась в душе хворь. Но странная какая-то хворь — желанная. Без нее чего-то не хватает.

Еще вспоминались какие-то утра... Идешь по траве босиком. Она вся бусая от росы. И только след остается — ядовито-зеленый. И роса обжигает ноги. Даже теперь зябко ногам, как вспомнишь.

А то вдруг про смерть подумается: что скоро — все. Без страха, без боли, но как-то удивительно: все будет так же, это понятно, а тебя отнесут на могилку и зароят. Вот трудно-то что понять: как же тут будет все так же? Ну, допустим, понятно: солнышко будет вставать и заходить — оно всегда встает и заходит. Но люди какие-то другие в деревне будут, которых никогда не узнаешь... Этого никак не понять. Ну, лет десять-пятнадцать будут еще помнить, что был такой Матвей Рязанцев, а потом — все. А охота же узнать, как они тут будут. Ведь и не жалко ничего вроде: и на солнышко насмотрелся вдоволь, и погулял в празднички — ничего, весело бывало, и... Нет, не жалко. Повидал много. Но как подумаешь: нету тебя, все есть какие-то, а тебя больше не будет... Как-то пусто им вроде без тебя будет. Или ничего?

«Тьфу!.. Нет, старею».

Даже устал от таких дум.

— Слышь-ка!.. Проснись, — будил Матвей жену. — Ты смерти страшисся?

— Рехнулся мужик! — ворчала Алена. — Кто ее не страшится, косую?

— А я не страшусь.

— Ну дак и спи. Чего думать-то про это?

— Спи, ну тя!..

Но как вспомнится опять та черная оглушительная ночь, когда он летел на коне, так сердце и сожмет — тревожно и сладко. Нет, что-то есть в жизни, чего-то ужасно жалко. До слез жалко.

А в одну ночь он не дождался Колькиной гармошки. Сидел курил... А ее все нет и нет. Так и не дождался. Измаялся.

К свету Матвей разбудил жену.

— Чего эт звонаря-то нашего не слышно?

— Да женился уж! В воскресенье свадьбу намечают.

Тоскливо сделалось Матвею. Он лег, хотел заснуть и не мог. Так до самого рассвета лежал, хлопал глазами. Хотел еще чего-нибудь вспомнить из своей жизни, но как-то совсем ничего не приходило в голову. Опять навалились колхозные заботы... Косить скоро, а половина косилок у кузицы стоит с задранными оглоблями. А этот черт косой, Филя-кузнец, гуляет. Теперь еще на свадьбу залететь, считай, неделя улетела.

«Завтра поговорить надо с Филей».

...Встретив на другой день Кольку губастого, Матвей усмехнулся:

— Что, брат, доигрался?

Колька заулыбался... А улыбка у него — от уха до уха.

— Все, Матвей Иванович, больше не буду будить вас по ночам. Конец. Бросил якорь.

— Ну-ну, — сказал Матвей и пошел по своим делам, а сам думал: «Чего ты радуешься, бычок? Она тебя возьмет теперь за рога, Нинка-то. Они все, Кречетовы, такие».

Прошла неделя.

Все так же лился ночами лунный свет в окна, резко пахло из огорода полынью и молодой картофельной ботвой... И было тихо.

Матвей плохо спал. Просыпался, курил... Ходил в сени пить квас. Выходил на крыльцо, садился на приступку и курил. Светло было в деревне. И ужасающе тихо.